

Я существую

Я совсем маленькая. Сажу на подоконнике, вокруг разбросаны игрушки — опрокинутые башни из кубиков, куклы с вытарашенными глазами. В доме темно, воздух в комнатах медленно остывает, меркнет. Никого нет; все ушли, скрылись, вдали еще звучат голоса, шарканье, эхо шагов и приглушенный смех. За окном — пустой двор. Тьма мягко стекает с неба. Оседает повсюду черной росой.

Мучительнее всего неподвижность: густая, зримая — холодные сумерки и слабый свет натриевых ламп, что тонет во мраке уже в радиусе метра.

Ничего не происходит, надвигающаяся темнота замирает на пороге, предвечерний гомон стихает, застывает густой пенкой, словно на кипяченом молоке. Силуэты домов на фоне неба растягиваются до бесконечности, мало-помалу сглаживаются острые углы, края, изломы. Угасая, свет уносит с собой и воздух — становится душно. Теперь мрак просачивается сквозь кожу. Звуки свернулись клубочком, втянули внутрь улиточки глазки; распрощавшись, исчез в парке оркестр мира.

Этот вечер — кромка мира, я случайно, сама того не желая, нащупала ее во время игры. Обнаружила, ненадолго оставленная одна, без защиты. Я понимаю, что попалась, ловушка захлопнулась. Совсем маленькая, я сажу на подоконнике, смотрю на остывший двор. Уже погас свет в школьной кухне, там никого нет. Бетонные пли-

Ольга Токарчук

ты двора напिताлись мраком и растаяли. Закрыты двери, опущены шторы, задернуты занавески. Хочется выйти из дому, но некуда. Только контуры моего присутствия становятся все более четкими, дрожат, колыхнутся, причиняя мне боль. В мгновение ока я осознаю: пути назад нет, я — существую.

Мир в голове

Первое путешествие я совершила по полям, пешком. Исчезновение мое обнаружили не сразу, так что я успела зайти довольно далеко. Прошла весь парк, а потом — проселочными дорогами, через кукурузу и влажные луга, усыпанные калужницей, нарезанные на квадраты мелиорационными канавами, — добралась до самой реки. Впрочем, река в этой низине повсюду напоминала о своем присутствии, просачивалась сквозь травяной покров, облизывала поля.

Взобравшись на дамбу, я увидела движущуюся ленту, дорогу, уходящую за пределы кадра, за пределы мира. Если повезет, можно было увидеть баржи, большие плоские суда, которые скользили по реке — одни туда, другие обратно, не замечая берегов, деревьев, стоящих на дамбе людей, которые, вероятно, казались им изменчивыми, недостойными внимания ориентирами, свидетелями их исполненного грации движения. Я мечтала, когда вырасту, работать на такой барже, а еще лучше — самой в нее превратиться.

Река была невелика, всего-навсего Одра; но ведь и я в то время была маленькой. В иерархии рек она занимала свое место (позже я проверила по картам) — далеко не главное, но достойное, этакая провинциальная виконтесса при дворе королевы Амазонки. Однако меня это устраивало, мне Одра казалась огромной. Она текла как хотела, уже давно никем не регулируемая, склонная

к разливам, непредсказуемая. Местами, на мелководе, цеплялась за какие-то подводные препятствия, образуя водовороты. Струилась, шествовала, устремленная к недоступной взору цели, где-то далеко на севере. На ней невозможно было остановить взгляд — река увлекала его за линию горизонта, вызывая головокружение.

Одра не обращала на меня внимания — занятая собой, изменчивая, кочевая вода, в которую, как я узнала впоследствии, нельзя войти дважды.

Каждый год она взимала обильную дань за то, что таскала на своем хребте баржи: каждый год кто-нибудь в ней тонул — то ребенок, купавшийся в жаркий летний день, то пьяный, загадочным образом потерявший равновесие и, несмотря на ограждение, упавший с моста в воду. Поиски утопленников всегда были долгими, шумными и держали в напряжении всю округу. Прибывали водолазы и армейские моторки. Как следовало из подслушанных разговоров взрослых, тела находили раздувшимися и бледными — вода вымывала из них всю жизнь, смазывая черты лица настолько, что близкие с трудом опознавали трупы.

Стоя на дамбе, вглядываясь в течение реки, я осознала, что — вопреки всем опасностям — движение всегда предпочтительнее покоя; перемены благороднее постоянства; обездвиженное неминуемо подвергнется распаду, выродится и обратится в прах, тогда как подвижное, возможно, пребудет вечно. В тот момент река иглой пронзила мой надежный устойчивый пейзаж — парк, теплицы, в которых застенчивыми рядками всходили овощи, бетонные плиты тротуара, на которых мы играли в классики. Прокколола его насквозь, продырявила, обозначив вертикаль третьего измерения; детский мир обратился в резиновую игрушку, из которой со свистом выходил воздух.

Мои родители принадлежали к племени не вполне оседлому. Они не раз меняли место жительства, пока

наконец не застряли в провинциальной школе, вдали от автострады и железной дороги. Путешествие начиналось сразу за околицей, достаточно было отправиться в соседний городок. Покупки, оформление документов в районной администрации, на рыночной площади перед ратушей — неизменный парикмахер в неизменном халате, тщетно застирываемом и отбеливаемом, потому что краска для волос оставляла на нем каллиграфические пятна, китайские иероглифы. Мама красила волосы, а отец ждал ее в кафе «Нова», на террасе с двумя столиками. Он читал местную газету, самой занимательной рубрикой которой всегда оказывались «Происшествия» — там сообщалось о похищенных из очередного подвала банках с повидлом и корнишонами.

Эти их отпускные экспедиции, опасливые, в битком набитой «Шкоде»! К поездкам долго готовились, планировали — вечерами, в канун весны, едва сойдет снег, но прежде, чем очнется земля; в ожидании, пока наконец она отдаст свое тело плугам и мотыгам, позволит себя оплодотворить и потом уж заставит родителей работать весь день напролет.

Они принадлежали к поколению, что странствовало с кемпинговым прицепом, волочило за собой временный дом. Газовую плитку, складные столики и стулья. Нейлоновую веревку — развешивать белье на стоянках, деревянные прищепки. Клеенки на стол, непромокаемые. Туристический набор для пикника: разноцветные пластиковые тарелки, приборы, солонки и рюмки. Где-то по дороге, на очередном блошином рынке, которые родители обожали посещать (если только не фотографировались на фоне какого-нибудь костела или памятника), отец купил армейский чайник — медную посудину с трубой внутри: бросаешь горсть щепочек и поджигаешь. И хотя в кемпингах можно было пользоваться электричеством, отец кипятил воду в этом чайнике, разводя

дым и грязь. Садился на корточки возле горячего сосуда и с гордостью прислушивался к бульканью кипятка, которым заливал пакетики с чаем, — истинный кочевник.

Они останавливались в специально отведенных местах, на площадках кемпингов, всегда в обществе себе подобных, болтали с соседями, окруженные носками, что сушились на тросиках палаток. Прокладывали маршруты с помощью путеводаителя, тщательно разрабатывая план развлечений. До обеда — купание в море или озере, после — паломничество в древний мир достопримечательностей, увенчанное ужином, который обычно готовился из консервов: гуляш, котлеты, фрикадельки в томатном соусе. Оставалось только сварить макароны или рис. Вечная экономия, хилый золотый, медный грошик мира. Искали места, где можно подключиться к электросети, потом нехотя собирались в дальнейший путь — никогда, правда, не выходящий за пределы метафизической домашней орбиты. Родители не были настоящими путешественниками, ведь они уезжали, чтобы вернуться. И возвращались с облегчением, с чувством выполненного долга. Возвращались к скопившимся на комоды письмам и счетам. К большой стирке. К украдкой позевывающим над фотографиями друзьям. Это мы в Каркасоне. Вот жена, на заднем плане — Акрополь.

Потом весь год они вели оседлый образ жизни — то диковинное существование, когда утром возвращаешься к делам, что были прерваны вечером, одежда пропитывается запахом собственной квартиры, а ноги неутомимо протаптывают тропку на ковре.

Это не для меня. Во мне, видимо, отсутствует ген, который позволяет укорениться в любом месте, едва остановившись. Я пробовала, но корни всякий раз оказывались слишком слабы, и малейший порыв ветра вырывал меня из земли. Я не умею пускать ростки, лишена этого растительного дара. Не питаюсь земными соками, я — анти-Антей.

Мою энергию порождает движение — тряска автобусов, рокот самолетов, покачивание паромов и поездов.

Я удобна, невелика, компактна и хорошо оснащена. У меня маленький, нетребовательный желудок, сильные легкие, плоский живот и крепкие мышцы рук. Я не принимаю никаких лекарств, не ношу очки, не нуждаюсь в гормонах. Волосы стригу машинкой раз в три месяца, косметикой почти не пользуюсь. У меня здоровые зубы, может, не слишком ровные, но целые, всего одна старая пломба, кажется, в нижней левой шестерке. Печень — в норме. Поджелудочная — в норме. Почки, правая и левая, — в превосходном состоянии. Брюшной отдел аорты — в норме. Мочевой пузырь — правильной формы. Гемоглобин — 12,7. Лейкоциты — 4,5. Гематокрит — 41,6. Тромбоциты — 228. Холестерин — 204. Креатинин — 1,0. Билирубин 4,2 и так далее. Мой IQ — если считать, что это имеет значение, — 121; сойдет. Хорошо развитое пространственное воображение, почти эйдети-ческое¹, а вот латеризация² плохая. Профиль личности — неустойчивый, видимо, полагаться на него не стоит. Возраст — психологический. Пол — грамматический. Книги я покупаю, как правило, в мягком переплете, чтобы не жалко было оставить их на перроне, для других глаз. Ничего не коллекционирую.

Я окончила университет, но, по сути, никакой профессией не овладела, о чем очень сожалею; мой прадед ткал полотно, белил его — раскладывал на пригорке, подставлял палящим лучам солнца. Вот это по мне — спле-

¹ Способность «видеть» образ предмета, несмотря на его фактическое отсутствие. При этом мысленный образ является точным отображением реальности, а не реконструкцией с использованием навыков памяти. Среди взрослых это умение встречается довольно редко, но относительно распространено у детей (примерно 5% детей обладают эйдетическим воображением). (*Здесь и далее — прим. пер.*)

² Процесс, посредством которого различные функции и процессы связываются с одним или другим полушарием.

тать основу и уток, однако переносных ткацких станков не бывает, ткачество — ремесло оседлых народов. В дороге я вяжу. К сожалению, в последнее время некоторые авиакомпании запрещают брать на борт самолета спицы и крючок. Как уже говорилось, никакому делу я не обучена, и все же, несмотря на опасения родителей, мне удалось выжить, хватаясь то за одно, то за другое и ни разу не скатившись на дно.

Вернувшись в город после двадцатилетнего романтического эксперимента, утомленные засухами и морозами, здоровой едой, что всю зиму хворает в подвале, шерстью от собственных овец, старательно заталкиваемой в глотки подушек и одеял, родители выдали мне небольшую сумму, и я впервые отправилась в путь.

Я устраивалась на временную работу там, где оказывалась. На окраине мегаполиса собирала антенны для эксклюзивных яхт на интернациональной мануфактуре. Там было много таких, как я. Нанятых нелегально, без лишних расспросов о происхождении и планах на будущее. Зарплату выдавали в пятницу, и если что кого не устраивало — в понедельник можно было просто не приходить. Сюда стекались вчерашние школьники: между выпускными и вступительными экзаменами. Иммигранты с их вечной мечтой об идеальной, справедливой западной стране, где люди живут как братья и сестры, а сильное государство окружает их отеческой заботой; беглецы, удравшие от своих семейств — жен, мужей, родителей; несчастные влюбленные, рассеянные, меланхоличные и вечно зябнущие. Должники, не выплатившие кредит и преследуемые законом. Бродяги, перекаати-поле. Психи, которых после очередного приступа безумия увозили в больницу, а оттуда — согласно невразумительным правилам — депортировали на родину.

Только один индус работал здесь постоянно, уже многие годы, но, честно говоря, его положение ничем

Ольга Токарчук

не отличалось от нашего. У него не было медицинской страховки, ему не полагался отпуск. Он работал молча, терпеливо, размеренно. Никогда не опаздывал, никогда не просил отгулов. Я уговорила нескольких человек организовать профсоюз (то были времена «Солидарности») — хотя бы ради этого индуса, — но оказалось, что ему это не нужно. Растроганный моим вниманием, он каждый день угощал меня острым карри, которое приносил в судках. Сейчас я даже не помню, как его звали.

Я побывала официанткой, горничной в роскошном отеле и нянькой. Продавала книги, продавала билеты. На один сезон устроилась в маленький театр костюмершей и целую долгую зиму провела среди плюшевых кулис, тяжелых костюмов, атласных пелерин и париков. После университета я еще работала педагогом, консультантом в наркологическом центре, а в последнее время — библиотекаршей. Поднакопив немного денег, отправлялась дальше.

Голова в мире

Психологию я изучала в большом и мрачном коммунистическом городе, факультет занимал здание, где во время войны располагался штаб СС. Район выстроен на руинах гетто, и человек наблюдательный без труда заметит, что уровень земли здесь примерно на метр выше, чем везде в городе. Метр развалин. Мне всегда было там не по себе; среди многоэтажек и убогих скверов вечно гулял ветер, а морозный воздух казался особенно колючим, щипал лицо. Это место, хотя на нем стояли жилые дома, по сути, все еще принадлежало мертвецам. Здание факультета снится мне до сих пор — широкие, будто бы вырубленные в скале коридоры, отполированные множественно стертых краев ступеней, выглаженные ладонями перила, — следы, отпечатавшиеся в пространстве. Вероятно, поэтому к нам и наведывались призраки.

Когда мы запускали крыс в лабиринт, всегда находилась одна, которая опровергала своим поведением теорию и плевать хотела на наши хитроумные гипотезы. Она вставала на задние лапки, совершенно не интересуясь наградой на финише экспериментальной трассы; безразличная к привилегиям рефлекса Павлова, она обводила нас взглядом, а потом возвращалась обратно или же принималась неспешно обследовать лабиринт. Что-то искала в ответвлениях коридора, старалась привлечь к себе внимание. Растерянно пищала, и тогда девочки, нарушая инструкции, вытаскивали ее из лабиринта и держали в руках.

Мышцы мертвой распяленной лягушки сокращались и расслаблялись, повинаясь электрическим импульсам, но не так, как описывал учебник, а намекая на что-то: в движениях конечностей явственно читались угроза и издевка, опровергавшие святую веру в механическую непорочность физиологических рефлексов.

Нас учили здесь, что мир можно описать и даже объяснить с помощью простых ответов на умные вопросы. Что по сути своей он хаотичен и мертв, подчиняется нехитрым закономерностям, которые следует растолковать и наглядно представить — желательно с использованием диаграмм. От нас требовали проведения экспериментов. Формулировки гипотез. Их верификации. Нас посвящали в тайны статистики, полагая, что она поможет успешно справиться с описанием мироустройства и что девяносто процентов всегда перевесят пять.

Но сегодня я уверена в одном: ищущий порядка да бежит психологии. Лучше избрать физиологию или теологию, которые хотя бы способны обеспечить устойчивую почву под ногами — материю или дух, — чтобы не поскользнуться на психике. Психика — весьма туманный объект исследования.

Правы были те, кто утверждал, будто на факультет этот идут не ради будущей профессии, интереса или стремле-

ния нести людям помощь, — причина совсем иная, очень простая. Подозреваю, что все мы имели некий глубоко скрытый дефект, хотя, вероятно, производили впечатление умных и здоровых молодых людей — замаскировав, ловко закамуфлировав свой изъян на вступительных экзаменах. Клубок эмоций, плотно переплетенных, свалывшихся, — вроде тех диковинных опухолей, которые порой обнаруживаются в человеческом теле и которые можно увидеть в любом мало-мальски приличном патологоанатомическом музее. Но, вполне возможно, наши экзаменаторы были подобны нам и хорошо отдавали себе отчет в своих действиях. А следовательно, мы — их преемники. На втором курсе, изучая функционирование защитных механизмов и с восторгом открывая могущество этой сферы психики, мы начинали понимать, что без рационализации¹, сублимации, вытеснения, без всех этих фокусов, которыми мы себя тешим — умей мы взглянуть на мир с открытым забралом, честно и бесстрашно, — умерли бы от разрыва сердца.

В процессе обучения мы узнали, что состоим из оборонительных сооружений, щитов и доспехов, подобны городам, чье архитектурное разнообразие ограничивается стенами, башнями да укреплениями, — этакое государство бункеров.

Все тесты, опросы и обследования мы опробовали друг на друге, и после третьего курса я была уже в состоянии назвать то, что меня беспокоило, — мне как будто открылось собственное сокровенное имя, используемое лишь для обряда инициации.

¹ Механизм психологической защиты, за счет которого в мышлении используется только та часть воспринимаемой информации и делаются только те выводы, благодаря которым собственное поведение предстает как хорошо контролируемое и не противоречащее объективным обстоятельствам. Термин был предложен З. Фрейдом, в дальнейшем понятие развила его дочь А. Фрейд.

Я недолго занималась тем, чему меня обучили. В одной из поездок, застряв без гроша в большом городе и устроившись в гостиницу горничной, начала писать книгу. Это была повесть, которую хорошо читать в дороге, в поезде, — я словно бы писала ее для самой себя. Книга-тартинка — целиком умещается во рту, не приходится откусывать.

Мне удавалось хорошенько сосредоточиться и сконцентрироваться, на некоторое время обратившись в гигантское ухо, что прислушивается к шорохам, эху и шелесту; к далеким голосам, доносящимся откуда-то из-за стены.

Но я так и не стала настоящей писательницей или, лучше сказать, писателем — мужской род придает этому слову весомость. Жизнь вечно ускользала от меня. Я обнаруживала только ее следы, жалкие личиночные шкурки. Стоило мне засечь ее координаты, как она меняла местоположение. Я находила лишь знаки, вроде надписи на дереве в парке: «Здесь был я». На листе бумаги жизнь оборачивалась незаконченными историями, сновидческими новеллами, туманными сюжетами, зависала на горизонте вверх ногами или в поперечном сечении, не позволяя охватить целое.

Каждый, кто когда-либо пытался написать роман, знает, сколь мучителен этот труд — хуже занятия просто не придумаешь. Ты обречен на постоянное заточение внутри себя, в одиночной камере. Это контролируемый психоз, паранойя и мания, приспособленные к полезному делу, а потому лишённые перьев, турнюров и венецианских масок, по которым их можно было бы опознать, — скорее уж нацепившие фартук мясника и резиновые сапоги, с тесаком в руках. С такой писательской перспективы, как из подвала, видны разве что ноги прохожих, слышен стук каблуков. Порой кто-нибудь остановится, наклонится и заглянет внутрь, тогда есть шанс

увидеть человеческое лицо и даже обменяться с незнакомцем парой фраз. Однако на самом деле разум занят игрой, которую ведет сам с собой в поспешно сооруженном паноптикуме, расставляет фигурки на эфемерной сцене: автор и герой, повествовательница и читательница, та, что описывает, и та, что описана; ноги, туфли, каблуки и лица случайных прохожих рано или поздно становятся частью этой игры.

Я не жалею, что выбрала это специфическое занятие, — профессия психолога не для меня. Я не умела истолковывать, выкликать из тьмы разума семейные фотографии. Чужие исповеди... Нередко — признаюсь с грустью — они навевали на меня скуку. По правде говоря, зачастую мне хотелось поменяться с пациентом ролями и рассказать о себе. Я с трудом удерживалась, чтобы внезапно не схватить его за рукав и не прервать на полуслове: «Да что вы! А у меня совершенно иное ощущение! А мне вот что приснилось! Послушайте...» Или: «Да что вы можете знать о бессоннице! Это, по-вашему, паническая атака? Вы, наверное, шутите. Вот я недавно такое пережила...»

Я не умела слушать. Выходила за рамки, совершала переносы¹. Не доверяла статистике и апробированным теориям. На мой вкус, тезис «одна личность — один человек» отдает минимализмом. У меня была склонность затуманивать бесспорное, подвергать сомнению веские доказательства — привычка, извращенная йога для мозга, изысканная роскошь внутреннего движения. Подозрительное разглядывание всякой точки зрения, смакование ее и, наконец, предсказуемое открытие: ни одно суждение не есть истина, любое — фальшивка, подделка. Мне не хотелось обзаводиться твердыми взглядами: ненужный балласт. В спорах я становилась то на одну

¹ Психологический феномен, заключающийся в бессознательном переносе ранее пережитых чувств и отношений, проявившихся к одному лицу, на другое лицо.

сторону, то на другую — и знаю, что собеседникам это не нравилось. Я замечала происходящее в моей голове странное явление: чем больше находилось аргументов «за», тем больше возникало всевозможных «против», и чем сильнее я прикипала душой к первым, тем сильнее влекли меня вторые.

Как я могла обследовать других, если сама мучилась с каждым тестом? Личностные опросники, анкеты, колонки вопросов и шкалы ответов казались мне слишком сложными. Я быстро обнаружила в себе этот изъян, поэтому в университете, когда мы, практикуясь, опрашивали друг друга, давала случайные ответы, наобум. В результате получались диковинные профили — кривые, вычерченные на оси координат. «Уверена ли ты, что лучшее решение — то, которое легче всего изменить?» Уверена ли я? Какое решение? Изменить? Когда? Насколько легче? «Войдя в комнату, ты остановишься в центре или сбоку?» В какую комнату? В какой момент? Пустая она, или вдоль стен стоят красные плюшевые диваны? А окна — какой из них открывается вид? Вопрос о книге: предпочту ли я книгу вечеринке, или это зависит от книги и от вечеринки?

Что за методы! Подразумевающие, что человек себя не знает, но стоит подсунуть ему хитроумный вопросник — и он тут же прозреет. Сам задаст себе вопрос и сам же на него ответит. По рассеянности выдаст самому себе тайну, о которой понятия не имеет.

И второй тезис, смертельно опасный: будто мы неизменны, а наши реакции — предсказуемы.

Синдром

История моих путешествий — не более чем история болезни. Синдром, которым я страдаю, вы без труда отыщете в любом справочнике клинических синдромов;

как утверждают авторы медицинских трудов, в наши дни он встречается все чаще. Я бы рекомендовала старое (семидесятих годов) издание «The Clinical Syndromes»¹. Это своего рода энциклопедия синдромов, а для меня — просто-таки неисчерпаемый источник вдохновения. Кто еще осмелится дать столь целостное, панорамное и объективное описание человека? Уверенно оперируя понятием личности? Претендуя на убедительную типологию? Полагаю, никто и никогда. Понятие синдрома идеально подходит для психологии путешествий. Синдром компактен, мобилен, не привязан к громоздкой теории, эпизодичен. Им можно воспользоваться для объяснения того или иного факта, а после — выбросить в мусорную корзину. Одноразовый инструмент познания.

Мой синдром именуется персеверативной² детоксикацией. В буквальном, непритязательном переводе — настойчивое обращение сознания к определенным представлениям, вплоть до судорожного их поиска. Это разновидность Коэффициента злого мира (The Mean World Syndrome) — специфического инфицирования средствами массовой информации, в последние годы достаточно подробно описанного в литературе по нейропсихологии. Недуг сей носит, в сущности, весьма обывательский характер. Пациент проводит долгие часы перед телевизором, щелкая пультом и выискивая каналы с самыми страшными новостями: о войнах, эпидемиях и катастрофах. Завороженный этими картинками, человек не в силах оторваться от экрана.

Сами по себе эти симптомы не опасны и никак не мешают нормальному течению жизни — при условии сохранения дистанции. Этот досадный недуг неизлечим,

¹ Клинические синдромы (англ.).

² Персеверация (лат. *perseveratio* — настойчивость, упорство) — устойчивое повторение какой-либо фразы, деятельности, эмоции, ощущения.

науке в данном случае остается лишь с горечью констатировать сам факт наличия синдрома. Когда человек, устранившись себя самого, наконец попадает к психиатру, тот рекомендует ему уделить внимание «гигиене» жизни: отказаться от кофе и алкогольных напитков, хорошо проветривать спальню, заняться садоводством, вязанием или ткачеством.

Наблюдаемый у меня комплекс симптомов связан с тягой ко всему искаженному, несовершенному, дефектному, ущербному. Меня влекут погрешности в деле творения, небрежность форм, тупиковые пути. То, что по каким-то причинам осталось в зачаточном состоянии или, напротив, хватило через край. Все неправильное, слишком маленькое или слишком большое, перезревшее или недоразвитое, чудовищное и отталкивающее. Формы, не ведающие симметрии, множасьиися, наращивающие бока, ветвящиеся или, наоборот, отказавшиеся от разнообразия в пользу единства. Меня не интересуют события повторяющиеся, учтенные статистикой, обряды, вызывающие на лицах участников довольные фамильярные улыбки. Моя чувствительность носит характер тератологический¹, монструозный. Меня не оставляет мучительная уверенность, что именно здесь выплескивается на поверхность и обнаруживает свою природу истинное бытие. Внезапное, случайное оголение. Стыдливое «чпок», краешек нижней юбки, выглядывающий из-под тщательно заутюженных складок. Уродливый металлический каркас, внезапно показывающийся из-под бархатной обивки; извержение пружины плюшевого кресла, бесстыдно обнажающее иллюзорность любой мягкости.

¹ Тератология (*греч.* *teras* — чудовище) — наука, изучающая врожденные уродства отдельных органов и целых организмов; стиль средневекового графического искусства, основанный на нагромождении чудовищно-фантастических образов.

Кунсткамера

Я никогда не была любительницей художественных галерей и, будь моя воля, охотно променяла бы их на кунсткамеры, где собрано и выставлено редкое и неповторимое, диковинное и жутковатое. Бытующее в тени сознания и исчезающее из поля зрения, едва обращаешь на него взгляд. Да, я наверняка страдаю этим проклятым синдромом. Меня привлекают не те коллекции, что экспонируются в центре города, а скромные больничные собрания, зачастую перенесенные в подвал как недостойные солидных витрин и выдающие сомнительные пристрастия прежних собирателей. Саламандра о двух хвостах в овальной банке, мордочкой кверху, ожидающая Судного дня, когда воскреснут наконец все препараты на свете. Почка дельфина в формалине. Череп овцы, аномалия чистой воды, двойной набор глаз, ушей и ртов, прекрасный, словно лик многозначного древнего божества. Человеческий плод, украшенный бусами и снабженный каллиграфической подписью: «Fetus Aethiopsis 5 mensium»¹. Годами коллекционируемые капризы природы, двуглавые и безголовые, так и не рожденные, сонно плавающие в растворе формальдегида. Или *Cephalothoracoscapus Monosymmetrus*², по сей день экспонируемый в музее в Пенсильвании: патологическая морфология плода с одной головой и двумя телами опровергает основы логики: $1 = 2$. И, наконец, трогательный домашний кулинарный препарат: яблоки урожая 1848 года, спящие в спирту, все диковинные, необычной формы; видимо, кто-то решил, что эти казусы заслуживают бессмертия и что вечно пребудет лишь уникальное.

Именно к этому я терпеливо продвигаюсь в своих странствиях, выискивая просчеты и осечки творения.

¹ Плод эфиопа пятимесячный (лат.).

² Моносимметричный цефалоторакопаги (лат.).

Я научилась писать в поездах, отелях и залах ожидания. На откидном столике в самолете. Я делаю пометки под столом во время обеда или в туалете. Пишу на музейной лестнице, в кафе, в машине, припаркованной на обочине. Записываю на клочках бумаги, в блокнотах, на почтовых открытках, на ладони, на салфетках, на полях книг. Чаще всего это короткие фразы, сценки, но иногда и выдержки из газет. Бывает, соблазнившись какой-нибудь выхваченной из толпы фигурой, я меняю свой маршрут и некоторое время следую за этим человеком, готовясь начать повествование. Метод хороший; я его совершенствую. С каждым годом мне, как всякой женщине, все больше помогает возраст — я сделалась невидима, прозрачна. Могу двигаться подобно привидению, заглядывать через плечо, подслушивать, как люди ссорятся, и наблюдать, как они спят, подложив под голову рюкзак, как разговаривают, не догадываясь о моем присутствии, только шевеля губами, формулируя слова, которые я собираюсь произнести от их имени.

Видеть значит ведать

Цель всякого моего паломничества — другой паломник. На сей раз дефектный, расчлененный.

Вот тут, например, собраны кости, но все до одной пораженные болезнью; искривленные позвоночники, полоски ребер явно извлечены из таких же искривленных тел, препарированы, высушены и вдобавок покрыты лаком. Крошечные циферки помогают отыскать описание болезни в почти истлевших инвентарных списках. Что такое бумажный век по сравнению с долголетием костей? Надо было писать прямо на костях.

Вот, к примеру, бедренная кость, которую кто-то, движимый любопытством, распилил вдоль, чтобы посмотреть, что сокрыто внутри. Вероятно, увиденное его

разочаровало: он связал две половинки конопляной веревкой и, размышляя уже о чем-то другом, положил обратно под стекло.

В этой витрине — несколько десятков людей, незнакомых друг с другом, разделенных временем и пространством и теперь покоящихся в комфортабельной могиле, просторной, сухой и хорошо освещенной, обреченных на музейную вечность; им наверняка завидуют кости, уставшие от вечной борьбы с землей. Возможно, иные из них, кости католиков, тревожатся: как они отыщут друг друга на Страшном суде, как, разрозненные, вновь составят тело, совершавшее дурные и благие поступки?

Череп с наростами самого разного вида, простреленные, продырявленные, выщербленные. Косточки кисти, искореженные ревматизмом. Плечо, сломанное в нескольких местах, сросшееся как попало, неправильно; окаменелость многолетней боли.

Слишком короткие длинные кости и слишком длинные — короткие, изъеденные туберкулезом, словно источенные жучком.

Бедные человеческие черепа в подсвеченных викторианских витринах щерятся, демонстрируя челюсти. Вон у того, например, посреди лба здоровенная дыра, зато зубы красивые. Интересно, оказалось ли это отверстие смертельным. Необязательно. Одному человеку, инженеру-путейцу, пробило голову металлическим прутом, и он прожил с этой раной еще долгие годы, чем принес очевидную пользу нейропсихологии, во всеуслышание заявлявшей, что наш мозг есть наше бытие. Тот инженер не умер, но очень изменился. По словам окружающих, стал совершенно другим человеком. Раз нашу суть определяет мозг, поскорее направимся к соответствующим витринам. Вот они! Кремовые актинии в растворе, большие и маленькие, гениальные и те, что не умели сложить два и два.

Однако дальше перед нами открывается отдел экспозиции, отведенный человеческим плодам. Куколки, фигурки; все такое миниатюрное, что человек целиком умещается в маленькой баночке. Самые младшие, эмбрионы, почти неразличимы — крошечные рыбки, лягушки, подвешенные на конском волосе в формалиновых просторах. Те, что побольше, демонстрируют строение человеческого тела, его чудесную оболочку. Крошки-недочеловеки, малыши-полугоминиды, их существование так и не преодолело магической грани потенциального. Обретя форму, они не доросли до духа — быть может, его наличие как-то зависит от размеров? Здесь материя с вялым упорством начала структурироваться в жизнь, собирать ткани, формировать группы органов, устанавливать связи между ними; вот уже заложена основа глаза и подготовлены легкие, хотя до света и воздуха далеко.

В следующем ряду те же органы, но уже зрелые, довольные, что обстоятельства позволили им обрести нужный размер. Нужный? Откуда им знать, до какого момента следует расти, когда остановиться? А вот некоторые как раз и не знали — эти кишки все росли и росли, ученые с трудом отыскивали подходящую банку. Еще труднее представить себе, как умещались они в животе того мужчины, что фигурирует на этикетке в виде инициалов.

Сердце. Все его тайны разгаданы окончательно — вот этот бесформенный предмет размером с кулак, грязно-кремовый. Это и есть цвет нашего тела, серо-кремовый, серо-коричневый, некрасивый — надо его запомнить. Мы бы не стали жить в комнате с такими стенами, не купили бы машину такого цвета. Это цвет нутра, темноты, места, которого не достигают солнечные лучи, влажного убежища, в котором материя прячется от чужих глаз, а следовательно, ей уже нет нужды играть на публику. Только кровь придает ей яркость; кровь призвана служить предостережением, ее красный цвет — сигнал

тревоги, что раковина нашего тела оказалась вскрыта. Целостность тканей — нарушена.

На самом деле изнутри мы бесцветны. Если сердце как следует прополоскать от крови, именно так оно выглядит — словно комок слизи.

Семь лет путешествия

— Каждый год — одно путешествие, вот уже семь лет, с тех пор, как мы поженились, — рассказывал попутчик — молодой мужчина в длинном черном элегантном пальто, с твердым черным портфелем, напоминающим роскошный футляр для столовых приборов.

У нас множество фотографий, говорил он, все разложено по порядку. Южная Франция, Тунис, Турция, Италия, Крит, Хорватия и даже Скандинавия. Мужчина объяснил, что обычно они смотрят фотографии несколько раз: с родственниками, с коллегами, потом с друзьями, а затем снимки годами хранятся в неприкосновенности, упакованные в пластиковые конверты, словно улики в сейфе у следователя: что мы там побывали!

Он задумался и выглянул в окно, за которым бежали уже опоздавшие куда-то пейзажи. Возможно, задумался: а что, собственно, значит — «побывали»? Куда подевались те две недели во Франции, которые сегодня умещаются в пару воспоминаний: внезапное чувство голода у стен средневекового города и вечерние мгновения в ресторанчике под увитой виноградом крышей? Что случилось с Норвегией? От нее остался лишь холод озерной воды да день, что никак не кончался, а еще радость, что успели купить пиво перед самым закрытием магазина, и впервые открывшийся ошеломительный вид фиорда.

— Увиденное мною принадлежит мне, — подытожил тот человек, внезапно оживившись, и звонко шлепнул себя по колену.

Гадание по Чорану

Другой человек, застенчивый и милый, в каждую командировку брал книгу Чорана, один из его сборников очень коротких текстов. В гостинице он всегда клал Чорана на тумбочку возле кровати, а проснувшись, сразу открывал наобум, в поисках формулы для наступающего дня. Он считал, что в европейских гостиницах Библию следует срочно заменить на Чорана. От Румынии до Франции. Мол, Библия для гадания уже не годится. Что нам с таких, к примеру, строк, откройся они по неосторожности в апрельскую пятницу или декабрьскую среду: «Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора — из меди» (Исход 27:19). Как это понимать? Впрочем, почему обязательно Чоран? Поглядев на меня с вызовом, он предложил:

— Пожалуйста, назовите что-нибудь другое.

Мне ничего не приходило в голову. Тогда он вынул из рюкзака тонкий потрепанный томик, открыл наугад, и лицо его прояснилось.

— «Вместо того чтобы обращать внимание на лица прохожих, я посмотрел на их ноги, и суетливость всех этих людей оказалась сведенной к торопливым шагам, устремленным... куда? И мне показалось очевидным, что наше предназначение состоит в том, чтобы топтаться в пыли в поисках некой тайны, лишенной всякого серьезного значения»¹, — прочитал он удовлетворенно.

Куницкий. Вода I

Позднее утро; сколько точно времени, он не знает — не посмотрел на часы, — но вряд ли прошло больше пятнадцати минут. Он поудобнее устраивается на сиде-

¹ Пер. О. Акимовой.

ные и прикрывает глаза; тишина пронзительна, словно высокий, навязчивый звук — не дает сосредоточиться. Он еще не понимает, что это сигнал тревоги. Отодвигает кресло подальше от руля и вытягивает ноги. Голова тяжелая, и тело поддается этой тяжести, сползает в белый нагретый воздух. Надо посидеть спокойно, подождать.

Он наверняка успел выкурить сигарету, а может, даже две. Через несколько минут вышел из машины и помочился в канаву. Кажется, мимо никто не проезжал, но теперь он уже не уверен. Потом вернулся в салон и попил воды из пластиковой бутылки. И только тогда забеспокоился. Резко посигналил, и оглушительный звук подхлестнул волну злости, которая почти привела его в чувство. С этого момента Куницкий помнит свои действия более отчетливо: он пошел вслед за ними по тропинке, рассеянно соображая, что скажет: «Чем ты здесь, черт возьми, занимаешься столько времени? Что еще за фокусы?»

Оливковая роща, совершенно высохшая. Трава шуршит под ногами. Среди выкрученных оливковых деревьев растет дикая ежевика; молодые побеги норовят выскользнуть на тропку и ухватить его за ногу. Повсюду мусор: бумажные платочки, мерзость женских прокладок, оккупированные мухами человеческие экскременты. Другие тоже останавливаются на обочине по нужде. Лень зайти поглубже в заросли, все спешат, даже здесь.

Нет ветра. Нет солнца. Белое неподвижное небо — словно полотнище палатки. Парит. Частички воды заполняют воздух, и повсюду ощущается запах моря — наэлектризованный, озоновый, рыбный.

Он замечает движение, но не там, среди деревьев, а здесь, под ногами. На тропинку выходит огромный черный жук; несколько секунд шевелит усиками, исследуя воздух, приостанавливается — наверное, обнаружил присутствие человека. Белое небо молочным пятном отражается в его безупречном панцире, и на мгновение

Куницкому кажется, что с земли на него взирает диковинный глаз — существующий вне тела, своенравный и бесстрастный. Куницкий проводит носком сандалии по земле. Шелестя сухими травинками, жук перебегает тропку. Исчезает в ежевике. Всё.

Чертыхнувшись, Куницкий возвращается к машине и, пока идет, еще надеется, что она и мальчик уже там — вернулись каким-то окольным путем; ну разумеется, они вернулись, как же иначе? Он скажет: «Я вас уже битый час ищу! Что еще за фокусы, черт побери?»

Она сказала: «Остановись». Куницкий притормозил, она вышла и открыла заднюю дверцу. Отстегнула малыша, взяла его за руку, и они ушли. Куницкому не хотелось вылезать из машины, он вдруг почувствовал сонливость, усталость, хотя проехали они всего несколько километров. Он только взглянул на жену и сына — вскользь, рассеянно, он ведь не знал, что надо смотреть внимательно. Теперь Куницкий пытается восстановить ту смазанную картинку, навести ее на резкость, увеличить и сохранить в памяти. Он видит их со спины — вот они шагают по шуршащей тропке. Жена, кажется, в светлых полотняных брюках и черной майке, малыш — в трикотажной футболке со слоником, но это он помнит потому, что утром сам одевал сына. Они разговаривают, слов не разобрать, он ведь не знал, что надо прислушиваться. Жена и сын исчезают среди олив. Куницкий не знает, сколько прошло времени, но не очень много. Четверть часа, может, чуть больше, он теряется, он ведь не смотрел на часы. Не знал, что надо следить за временем. Куницкий терпеть не может этот ее вопрос: «О чем ты думаешь?» «Ни о чем», — отвечал он, а жена не верила. Говорила, что так не бывает, обижалась. А вот и бывает — Куницкий испытывает своего рода удовлетворение: он и в самом деле может ни о чем не думать. Умеет.

Однако потом он вдруг останавливается посреди ежевичных зарослей, замирает, словно его тело, потянувшись к корневищу ежевики, случайно обрело новый центр тяжести. Тишине аккомпанируют жужжание мух и шум в голове. На мгновение Куницкий видит себя сверху: мужчина в брюках сафари, в каких ходят все туристы, и белой рубашке, с небольшой лысиной на макушке, среди островков зарослей, посторонний, гость в чужом доме. Человек, стоящий под обстрелом, забытый во время краткого перемирия в поединке раскаленного неба и запекшейся земли. Куницкого охватывает страх; ему хочется поскорее укрыться, спрятаться в машине, но тело не слушается — он не может шевельнуть ногой, не может сдвинуться с места. Сделать шаг — он и не подозревал, что это так трудно; электрическая цепь разорвана. Нога в сандалиии — якорь, удерживающий его на земле, — за что-то зацепился. Сделав сознательное усилие, недоумевающий Куницкий приводит ногу в движение. Иначе ему не вырваться из этого разогретого бесконечного пространства.

Они приехали 14 сентября. Паром из Сплита был полон — много туристов, но больше местных. Они ездят на материк за покупками — там дешевле. Острова не слишком плодородны. Распознать туристов несложно: едва солнце начало неотвратимо клониться к воде, они все столпились на правом борту и нацелили свои объективы. Паром медленно проплывал мимо многочисленных островков, потом Куницкому вдруг показалось, что они вышли в открытое море. Неприятное ощущение, краткий момент паники, как будто чуть понарошку.

Они легко отыскали свой пансион под названием «Посейдон». Хозяин, бородач Бранко, в футболке с изображением морской раковины, перешел на «ты» и, панибратски похлопывая Куницкого по плечу, проводил их с женой на

второй этаж узкого каменного дома, стоявшего на самом берегу, и с гордостью показал апартаменты. В их распоряжении — две спальни и маленькая угловая кухонька с традиционным гарнитуром из ламинированного ДСП. Окна выходят на пляж и открытое море. Под одним из окон как раз расцвела агава — цветок, венчающий мощный стебель, триумфально возносился над водой.

Куницкий достает карту острова и мысленно перебирает варианты. Она могла заблудиться и просто выйти к шоссе в другом месте. Теперь, небось, ждет его где-нибудь, а может, остановит попутку и поедет — куда? Судя по карте, шоссе извилистой линией проходит через весь остров: можно кататься по кругу, не выезжая к морю. Именно так они осматривали Вис¹ несколько дней назад. Куницкий кладет карту на пассажирское сиденье, на сумочку жены, и трогается. Едет медленно, высматривая их среди олив. Но через несколько километров пейзаж меняется: вместо оливковой рощи — каменистые пустоши, поросшие выгоревшей травой и ежевикой. Белые известковые камни щерятся, словно огромные зубы, выпавшие из пасти какого-то дикого существа. Куницкий проезжает пару километров и возвращается. Теперь справа от него — неправдоподобно зеленые виноградники и, изредка, маленькие каменные сарайчики для инструментов — пустые и мрачные. В лучшем случае она заблудилась — а вдруг потеряла сознание, она сама или малыш, ведь сейчас так душно и жарко? Может, им нужна помощь, а он, вместо того чтобы действовать, разъезжает по шоссе. Ну да, какой же он дурак, что только теперь подумал об этом. Сердце у Куницкого начинает биться сильнее. Может, у нее солнечный удар. Или нога сломана.

¹ Остров и одноименный город в Хорватии.

Он возвращается на прежнее место и несколько раз сигналит. Проезжают две машины с немецкими номерами. Сколько прошло времени? Около полутора часов, значит, паром уже ушел. Заглотнул машины, закрыл ворота и двинулся в море — мощный белый корабль. С каждой минутой их разделяет все более широкая полоса равнодушного моря. Куницкому чудится что-то недоброе, от чего пересыхает во рту, что-то, ассоциирующееся с этим мусором на обочине, с мухами и человеческими отходами. Теперь ему все ясно. Они пропали. Исчезли, оба. Куницкий уже понимает, что не найдет их среди олив, но все равно бежит туда по сухой тропке и кричит, не надеясь услышать ответ.

Пора послеобеденной сиесты, городок почти пуст. На пляже, у самой дороги, три женщины запускают синего воздушного змея. Паркуясь, Куницкий отлично их видит. На одной — светлые кремовые брюки, обтягивающие толстые ягодицы.

Бранко он обнаруживает за столиком небольшого кафе. С ним двое мужчин. Они пьют пелинковац¹ — со льдом, точно виски. Увидев Куницкого, Бранко удивленно улыбается.

— Что-то забыл? — спрашивает хозяин.

Мужчины пододвигают ему стул, но Куницкий не садится. Он хочет рассказать все по порядку, переходит на английский, одновременно, словно бы другой частью мозга, соображая — как в кино, — что полагается делать в подобных ситуациях. Говорит, что они пропали — Ягода и малыш. Говорит когда и где. Говорит, что искал, но не нашел. Тогда Бранко спрашивает:

— Вы поссорились?

¹ Горькая настойка на полыни и других травах.

Куницкий отвечает, что нет, это правда. Двое мужчин допивают пелинковац. Куницкий бы тоже не отказался. Он ощущает во рту сладковато-пряный вкус. Бранко медленно берет со стола пачку сигарет и зажигалку. Мужчины тоже встают — медленно, словно собираясь с силами перед боем, а может, им просто хочется посидеть еще в тени маркизы. Вся троица готова ехать на место происшествия, но Куницкий настаивает, чтобы сначала сообщили в полицию. Бранко колеблется. Его черная борода простегана лучиками седых волос. На желтой футболке — красная ракушка и надпись «Shell».

— А может, она на море пошла?

Может, и пошла. Решено: Бранко и Куницкий вернутся на шоссе, двое остальных пойдут в полицию — звонить в Вис. Бранко объясняет, что в Комиже только один полицейский, а настоящее отделение — в Висе. На столике остаются стаканы, в них тает лед.

Куницкий без труда находит тот маленький пяточок у обочины, где он тогда остановился. Ему кажется, что это было сто лет назад, время теперь течет иначе — густое и терпкое, состоящее из ряда эпизодов. Из-за белых туч выглядывает солнце, вдруг становится жарко.

— Погуди, — говорит Бранко, и Куницкий сигналил.

Звук протяжный, жалобный, словно голос какого-то зверя. Он затихает и раскалывается на крошечные эха цикад.

Время от времени переключаясь, Бранко с Куницким идут по зарослям олив. Встречаются они только у виноградника и, мгновение посовещавшись, решают поискать здесь. Шагают в тени лоз, окликая пропавшую женщину: «Ягода, Ягода!» Куницкий вдруг осознает значение имени жены, он совсем забыл о нем, но теперь ему кажется, будто все это какой-то древний ритуал, таинственный, гротескный. С лоз свисают набухшие темно-фиолетовые

грозди — извращенно-многократно умноженные соски, а он плутает в лиственных лабиринтах, выкрикивая: «Ягода, Ягода». К кому он обращается? Кого зовет?

Куницкий на мгновение останавливается — закололо в боку; стоя между рядами виноградных лоз, он сгибается пополам. Погружает голову в тенистую прохладу, голос Бранко, приглушенный листвой, затихает, и теперь Куницкий слышит жужжание мух — привычную основу ткани тишины.

За этим виноградником начинается следующий, отделенный всего лишь узкой тропкой. Куницкий и Бранко останавливаются, Бранко звонит по мобильному. Он повторяет два слова — «žena» и «djete»¹, ничего больше Куницкому разобрать не удастся. Солнце делается оранжевым; огромное, опухшее, оно слабеет на глазах. Еще мгновение — и можно будет заглянуть ему в лицо. Теперь виноградники приобретают насыщенный темно-зеленый цвет. Две беспомощные фигурки стоят в этом зеленом полосатом море.

К наступлению сумерек на шоссе уже несколько автомобилей и группа мужчин. Куницкий сидит в машине с надписью «Полиция» и с помощью Бранко отвечает на сумбурные, как ему кажется, вопросы крупного потного полицейского. Говорит он на простом английском. «We stopped. She went out with her child. They went right, here»², — он машет рукой. — I was waiting, let's say, fifteen minutes. Then I decided to go and look for them. I couldn't find them. I didn't know what has happened»³. Куницкому дают тепловатой минеральной воды, он жадно пьет. —

¹ Жена (женщина), ребенок (хорв.).

² Мы остановились. Она вышла вместе с ребенком. Они пошли направо, сюда (англ.).

³ Я ждал минут пятнадцать. Потом я решил пойти поискать их. Я не смог их найти. Я не знал, что случилось (англ.).

«They are lost»¹. И еще раз повторяет: «lost»². Полицейский звонит куда-то по мобильному. «It is impossible to be lost here, my friend»³, — говорит он Куницкому. Потом отзывается рация. Только через час они неровной цепью трогаются в глубь острова.

Распухшее солнце тем временем опускается на виноградники, а к тому моменту, когда они добираются до вершины холма, оранжевый диск уже касается моря. Они оказываются невольными свидетелями этого по-театральному торжественного заката. Наконец зажигаются фонари. Уже в темноте группа выходит на высокий, обрывистый берег — они проверяют две из множества маленьких бухточек; там стоят каменные домики — жилище наиболее эксцентричных туристов, избегающих отелей и готовых доплатить за отсутствие проточной воды и электричества. Готовят они на каменных плитах, некоторые привозят газовые баллоны. Ловят рыбу — прямо из моря та попадает на решетку гриля. Нет, женщину с ребенком никто не видел. Люди собираются ужинать — на столах появляются хлеб, сыр, оливки и несчастная рыба, еще сегодня днем предававшаяся своим бездумным морским занятиям. Время от времени Бранко звонит в Комижу, в пансион — по просьбе Куницкого, которому кажется, что жена просто заблудилась и разминулась с ним. Но после каждого звонка Бранко лишь похлопывает его по плечу.

Около полуночи Куницкий замечает, что группа мужчин поредела, среди оставшихся он видит тех мужчин, что сидели с Бранко за столиком. Теперь, на прощание, они представляются: Драго и Роман. Все идут к машине. Куницкий благодарен им за помощь, но не знает, как это выразить, — забыл, как будет по-хорватски «спаси-

¹ Они потерялись (*англ.*).

² Потерялись (*англ.*).

³ Здесь невозможно потеряться, дружище (*англ.*).

бо»; наверное, что-нибудь вроде «дякую», «дякуе», как-то так. Собственно, при большом желании они могли бы все вместе разработать некий славянский койне¹, набор схожих славянских слов первой необходимости, используемый без грамматики, — вместо того чтобы барахтаться в неловкой, упрощенной версии английского.

Ночью к его дому подплывает лодка. Жителей эвакуируют: наводнение. Вода поднялась уже до второго этажа. Просачивается через щели между кафельными плитками кухни, теплыми струйками вытекает из розеток. Разбухают от влаги книги. Куницкий открывает одну и видит, что буквы стекают, словно макияж, оставляя после себя пустые мутные страницы. Оказывается, все уже уплыли, остался только он.

Сквозь сон Куницкий слышит перестук лениво капающей с неба воды, в следующее мгновение превращающейся в короткий сильный ливень.

Benedictus, qui venit²

Апрель на автостраде, полосы красного солнца на асфальте, мир, тщательно глазурированный недавним дождем, — пасхальный кулич. Я еду на машине, страстная пятница, сумерки, то ли Бельгия, то ли Голландия — точно сказать не могу, потому что границы нет: никому не нужная, она совершенно стерлась. По радио передают «Реквием». Вторая «Benedictus», вдоль автострады загораются фонари, словно спешат узаконить нечаянно снизошедшее на меня по радио благословение.

¹ Язык повседневного общения носителей родственных языков или диалектов, возникший на основе наиболее распространенного из них и вобравший черты других языков или диалектов.

² Благословен идущий (*лат.*) «Benedictus» — католическое песнопение, раздел мессы (полностью: «Benedictus qui venit in nomine Domini» — «Благословен грядущий во имя господне»).

На самом деле это могло значить только одно: я уже на территории Бельгии, в которой, на радость путешественникам, все автострады освещаются.

Паноптикум

Паноптикум и вундеркамера — прочитала я в путеводителе по музею — предшественники музеев. Выставки всевозможных курьезов, привезенных из дальних и ближних путешествий.

Однако не будем забывать, что паноптикумом Бентам назвал свою гениальную систему охраны узников¹; он стремился конфигурировать пространство таким образом, чтобы каждый заключенный всегда оставался в зоне видимости.

Куницкий. Вода II

— Остров не так уж велик, — говорит утром Джурджица, жена Бранко, и наливает Куницкому густого крепкого кофе.

Все повторяют это, словно мантру. Куницкий понимает, что они хотят сказать, он и сам знает, что остров слишком мал, чтобы на нем можно было заблудиться. В длину чуть более десяти километров, всего два крупных населенных пункта — города Вис и Комижа. Их можно обшарить — тщательно, сантиметр за сантиметром, словно ящик письменного стола. Да и жители обоих городков

¹ Иеремия Бентам (1748–1832) — английский философ, занимавшийся вопросами этики, политической экономии, государства, права и пенитенциарии. Бентам предлагал реформировать пенитенциарную политику таким образом, чтобы с минимальными расходами добиться «устрашения» и даже «исправления» преступников. С этой целью он разработал проект «образцовой» тюрьмы — паноптикума, где один стражник мог наблюдать сразу за многими заключенными в камерах, расположенных вокруг его «рабочего места».

хорошо знают друг друга. Ночи теплые, винограда много, и инжир уже почти созрел. Даже если Ягода с малышом заблудились, ничего с ними не случится: от голода или холода они не погибнут, дикие звери здесь не водятся. Переночуют под оливой, на сухой, прогретой солнцем траве, под сонный шум волн. До дороги из любой точки — не больше трех-четырёх километров. На полях стоят каменные домики с бочками для вина, виноградными прессами, в некоторых имеются даже съестные припасы и свечи. На завтрак съедят кисть зрелого винограда или раздобудут что-нибудь у отдыхающих, в одной из бухточек.

Они спускаются к отелю, где уже ждет полицейский, но не вчерашний, а другой, помладше. Мгновение Куницкий надеется, что он принес хорошие новости, но полицейский лишь просит показать паспорт. Он тщательно переписывает данные, говорит, что Ягуду с малышом будут искать и на материке, в Сплите. И на соседних островах.

— Она могла идти по берегу, — объясняет полицейский.

— У нее не было денег. No money¹. Всё здесь, — Куницкий показывает сумочку жены и вынимает оттуда кошелек — красный, расшитый бусинками. Открывает и показывает полицейскому. Тот пожимает плечами и переписывает их адрес в Польше.

— Сколько лет ребенку?

— Три, — отвечает Куницкий.

Они снова едут по серпантину на то место, день обещает быть жарким и ясным, засвеченным, словно фотопленка. В полдень с нее исчезнут все изображения. Куницкому приходит в голову, что хорошо бы поискать

¹ Нет денег (*англ.*).

сверху, с вертолета, ведь остров совершенно гол. Еще он думает о чипах, которые вживляют животным, перелетным птицам, аистам и журавлям, а людям почему-то нет. Вот бы всем такой чип, ради нашей же безопасности — тогда через Интернет можно было бы отслеживать каждое движение: траектории, места отдыха, блуждание. Скольких смертей удалось бы избежать! Куницкий представляет себе картинку на мониторе: вычерчиваемые людьми цветные черточки, сплошные линии, пунктиры. Круги и эллипсы, лабиринты. А может, бесконечные восьмерки, неудавшиеся, внезапно прерванные спирали.

Приводят собаку, черную овчарку; дают ей понюхать свитер Ягоды, лежавший на заднем сиденье. Пес обследует землю вокруг машины, потом идет по тропинке между оливами. Куницкий вдруг оживляется: вот, сейчас все выяснится. Люди бегут следом за собакой. Овчарка замирает там, где Ягода с малышом, видимо, остановились по нужде, хотя никаких следов не видно. Пес стоит, довольный собой. Но этого мало, пес! Где люди, куда они пошли?! Овчарка не понимает, чего от нее добиваются, но идет дальше, медленно, в сторону, параллельно шоссе, удаляясь от виноградников.

— Значит, она пошла вдоль дороги, — думает Куницкий, — должно быть, по ошибке. Может, вышла на шоссе дальше и ждала его в нескольких сотнях метров отсюда? Но ведь он сигнализировал — неужели она не слышала? А дальше что? Может, кто-нибудь их подвез, но раз они не появились в пансионе, то куда этот кто-то мог их увезти? Кто-то. Смутная, расплывчатая фигура, широкие плечи. Мощный затылок. Похищение. Оглушил и спрятал в багажнике? Потом на пароме перевез на материк, теперь они в Загреббе или Мюнхене, а может, еще где-нибудь. Но как ему удалось провезти два тела через границу?

Но тут пес сворачивает к протянувшемуся наискосок от дороги заросшему оврагу, длинному кремнистому

пролому, сбегает по камням вниз. Там начинается старый заброшенный виноградник, совсем небольшой; они видят похожий на киоск каменный домик, крытый старым шифером. Перед дверью лежит кучка сухой виноградной лозы — видимо, ее собирались сжечь. Овчарка кружит вокруг дома, потом возвращается к двери. Однако домик, как ни удивительно, заперт на висячий замок. Ветром к порогу нанесло щепок. Сюда явно никто не заходил. Полицейский смотрит в грязное окошко, потом раскачивает его, сильнее и сильнее, наконец высаживает. Все заглядывают внутрь, в ноздри бьет вездесущий запах затхлости и моря.

Шумит рация, собаке дают попить, снова велят понюхать свитер. Теперь овчарка трижды обегает дом, возвращается на дорогу и нерешительно идет к голым, лишь кое-где поросшим сухой травой скалам. С обрыва видно море. Там стоят остальные спасатели. Лицом к морю.

Собака теряет след, бежит обратно, наконец ложится посреди тропки.

— То је зато јер је по ноћи падала киша¹, — говорит кто-то по-хорватски, и Куницкий без труда понимает, что речь идет о ночном дожде.

Появляется Бранко, приглашает его на поздний ланч. Полиция остается на месте происшествия, а они едут в Комижу. Почти всю дорогу молчат. Куницкий догадывается, что Бранко, вероятно, не знает, что сказать, да еще на чужом языке, по-английски. Ну и ладно, так даже лучше. В ресторане на берегу моря они заказывают жареную рыбу; собственно, это не ресторан, а кухня, которую держат знакомые Бранко. Все тут — его знакомые, они даже чем-то похожи друг на друга — более резкие черты лица, словно бы исхлестанные ветром, племя морских

¹ Это потому, что ночью шел дождь (хорв.).